

Комментарій

У литературы есть странное, съ виду какъ будто взбалмошно-женское свойство: отъ нея мало чего удается добиться тому, кто слишкомъ ей преданъ. Въ лучшемъ случаѣ получается Брюсовъ, пишущій съ удовольствіемъ и важностью, поощряемый общимъ уваженіемъ къ его «культурному дѣлу», переходящій отъ успѣха къ успѣху, — и внезапно проваливающійся въ небытіе... У Блока — въ каждой строчкѣ отвращеніе къ литературѣ, а останется онъ въ ней надолго.

Нѣкоторыя наблюденія опасны въ качествѣ рецепта. Мысль о «патентѣ на благородство», связаннымъ съ отвращеніемъ къ литературѣ, можетъ, конечно, вызвать скверную игру въ усталость, или въ ироническое всепониманіе, со вздохами на поздне-римскій ладъ. «Ah, tout est bi, tout est mangé, plus rien à dire». Не только можетъ, но и вызываетъ... Это досадно, какъ всякое притворство, однако ничуть не колеблетъ самой мысли. Настоящій писатель пишетъ съ тоской и даже смятѣніемъ, чувствуя, что все ускользаетъ, каждое слово предаетъ, какъ предаетъ солдатъ, старательный, но не понимающій замысла сраженія, — а графомантъ пишетъ «много и хорошо», хлопая себя по ляжкамъ послѣ работы, какъ Боборыкинъ. У Боборыкина нѣтъ видѣнія, и потому нѣтъ искаженія. У него слова только заполняютъ пустоту, зіявшую передъ нимъ до писанія, и онъ радуется разряду энергіи и наглядности результата.

Возраженія. Пушкинъ, глубочайший «литераторъ», конечно, и кстати тоже покрикавшій отъ удовольствія послѣ «Бориса Годунова». Но, во-первыхъ, Пушкинъ умеръ въ томъ возрастѣ, когда ощущенія такого порядка еще не успѣваютъ пробиться, — и вопросъ, чѣмъ бытъ бы, что далъ бы Пушкинъ, проживи онъ нормально — долгую жизнь (вопросъ, блистательно, хоть и поверхностино затронутый Константиномъ Леонтьевымъ въ фантастическомъ предположеніи, какой получилась бы у Пушкина «Война и Миръ»), уже содержитъ въ себѣ опроверженіе торопливыхъ и квази-безапелляціонныхъ сужденій по Пушкину

тридцатисемилѣтнему (особенно, если вспомнить пушкинскіе стихи послѣднихъ лѣтъ, смутно похожіе на поздніе бетховенскіе квартеты или живопись Рембрандта, и уже какъ бы подтасчивающіе всякую такую творческую радость, которая можетъ быть подточена, оставляющіе лишь неустранимое, рѣдко кому доступное, «холодный ключъ забвенія»). А во-вторыхъ, Пушкинъ былъ одушевленъ своимъ колумбовски-петровскимъ литературнымъ предназначениемъ, и всякими авгіевыми конюшнями, которая ему надо было расчистить. Другое возраженіе — Толстой, и его знаменитое «люблю жену, но романъ свой люблю больше, чѣмъ жену». Тутъ возраженіе — если въ него вдуматься, — оборачивается противъ самихъ возражающихъ. Именно потому толстовское бѣгство изъ литературы, или отъ нея, и полно смысла, что ему предшествовало такое упоеніе ею, — какъ вообще въ Толстомъ все чисто — духовное значительно тѣмъ, черезъ какія стихійныя и животныя толши оно пробилось, не ослабѣвъ. Толстовское отвращеніе — урокъ тѣмъ, кто отвращается слишкомъ быстро, «на двухъ статейкахъ утомивъ кое-какое дарование»: сначала полюбите, господа то, что въ литературѣ достойно любви, а ужъ потомъ бѣгите, разочаровывайтесь! Иначе гримаса на лицѣ капризна и глупа.

Еще — «противъ». Прусть, пробковая комната, умирание — и страстно-настойчивое дописываніе романа. Надо признаться, это самое вѣсѣкое «contra», и самое смущающее... Отвѣтить, объяснить какой-нибудь выдумкой было бы нетрудно, какъ вообще выдумать легко все! Но по правдѣ сказать, — отвѣтить нечего. Чувство долга? Стремленіе къ безсмертію, хотя бы и фальсифицированному? Скорѣй все-таки тутъ сказалось то «человѣческое, слишкомъ человѣческое», что было въ Прустѣ, чѣмъ то, что было въ немъ ослабленно-божественнаго.

Стопка рукописей на столѣ, — стихи и проза. Кто изъ этихъ авторовъ талантливъ, кто бездаренъ — не такъ интересно, при очевидной скромности талантовъ, и почти всякому въ наши дни доступномъ умѣніи затушевать бездарность. Но поговорить хотѣлось бы только съ нѣкоторыми. Съ тѣми, у кого въ первой же фразѣ слышится возможность будущаго, можетъ быть черезъ сорокъ лѣтъ, на вершинѣ успѣховъ, недоумѣнія передъ праздностью, тиеславіемъ, кичливостью, пустотой, безсовѣтностью почти всего того, что принято называть литературой. Многіе писатели связаны безмолвной круговой порукой, о которой никто кромѣ нихъ не догадывается.

Перечитывая Шекспира, — и изумляясь «до мозга костей, до корней волосъ» нѣкоторымъ совершенно невѣроятнымъ стра-
ницамъ.

Когда родилась новая литература? Когда Полоній подошелъ къ Гамлету съ вопросомъ «что вы читаете, государь?» — и Гам-
летъ отвѣтилъ:

— Слова, слова, слова...

Былъ какъ будто ясный день. Все стояло на своихъ мѣстахъ, и все было отчетливо видно, до мельчайшихъ линий и очертаний. И вдругъ кто-то проткнулъ дверь, за которой мелькнула другой свѣтъ, другія тѣни, измѣняющая представлениа о томъ, что знакомо было раньше.. Сравненіе примитивно, конечно, но передаетъ впечатлѣніе довольно вѣрно. Со «словами, словами, словами» что-то куда-то распахивается, — именно «что-то», «куда-то», потому что и до сихъ порь никому еще не удалось подобрать нужныхъ, точныхъ выражений для этого открытия.

Прошло триста лѣтъ, — и мы все еще живемъ Шекспиромъ, вѣрнѣ, идемъ шагъ за шагомъ въ найденномъ имъ направленіи. Какъ это на первый взглядъ ни парадоксально, Пушкинъ — при всей его обращенности впередъ въ духовной жизни Россіи, — въ области чисто творческой, личной, вѣдь какихъ-либо национальныхъ и историческихъ соображеній, обращенъ назадъ. Пушкинъ — противъ «Гамлета» (а въ особенности та охранительно-формальная критическая традиція, которая на Пушкина демонстративно предъявляетъ какія-то особыя права). По самому составу чувствъ, по материалу — Пушкинъ до «Гамлета», и ведеть свою волшебную и безпроигрышную творческую игру безъ тѣхъ элементовъ, при которыхъ срывъ иногда неизбѣженъ. Срывается сразу Лермонтовъ, будто въ колоду картъ ему подбросили какія-то двойки и тройки, съ которыми большого шлема не назначить.

Замѣчаніе на всякий случай: разсуждать — не значить умалять значеніе, или чего-либо «недооцѣнивать», тѣмъ болѣе въ данномъ случаѣ. На своемъ языке, въ кругу своихъ понятій приблизительно то же говорилъ Бѣлинскій, — а онъ, хоть и не всегда поспѣвая за Пушкинымъ, понялъ его все-таки проще и глубже, чѣмъ Достоевскій, понявшій только самого себя. (Недолеть мысли у Бѣлинскаго, перелетѣ у Достоевскаго: но въ первомъ случаѣ Пушкинъ остается передъ нами, а во второмъ онъ позади, — и видны лишь будущія безконтрольныя мистическія фантазіи, вплоть до Андрея Бѣлаго).

Годами ходишь «вокругъ да около» какихъ-то необходимыхъ, въ каждой строчкѣ подразумѣваемыхъ словъ, — а когда хочешь наконецъ извлечь ихъ въ чистомъ видѣ изъ потока привычныхъ періодовъ, оказывается, что они растворились въ нихъ почти безъ остатка.

Конечно, лирическія ссылки на «наше небывалое время», на «одиночество», будто бы заставившее «многое взвѣсить и многое пересмотрѣть», на возвращеніе къ «столому человѣку на голой землѣ» — на границѣ пошлости... Если вообще обѣ этомъ говорить не слѣдонало, то теперь больше говорить обѣ этомъ рѣшительно невозможно! «A consommer de suite», какъ обозначается на оберткѣ скоропортящихся продуктовъ. Опрятность въ выраженіяхъ, и въ томъ, что выражается — добродѣтель обязательная.

Постараемся же говорить «опрятно» — о томъ, что достойно любви въ литературѣ, и что скрѣй вызываетъ усмѣшку. Какъ часто случается, мысль мелькнула въ резултатѣ случайного впечатлѣнія: огромныя афиши на парижскихъ заборахъ, возвѣщающія о «Жаннѣ д'Аркъ, ораторіи въ двухъ частяхъ съ прологомъ и эпилогомъ, сочиненіи Поля Клоделя». Мгновенно, какъ при вспышкѣ молніи, все представилось абсолютно отчетливо, сверкнули все причины, доводы и слѣдствія, — а потомъ пришло ощущеніе брести во тьмѣ, пытаясь возстановить понятое.

Основная аксиома: надо писать правду, — т. е. вѣрно о вѣрномъ. Но тутъ же сомнѣніе: что такое правда? — и почему, самонадѣянно считая закономъ свой личный вкусъ, ты такъ уверенъ, что въ ораторіи о Жаннѣ д'Аркъ ея быть не можетъ? Безотчетно, всѣмъ существомъ своимъ ощущая возможность обоснованія, упорствую — «Нѣтъ, ея быть не можетъ» —, но и недоумѣваю: почему? Исторія литературы бурно протестуетъ, проносясь въ сознаніи со всѣми своими чудесами, школами, «измами», вдохновеніями, сказками, причудами, — и вопіеть, что безсмысленно сводить творчество къ грустному (и ужъ не безсильно ли старческому? — намекнеть, разумѣется, кто-нибудь) перебранію двухъ-трехъ мотивовъ, очищенныхъ отъ всякой позолоты. Однако, Богъ съ ней, съ исторіей искусства и литературы, неубѣдительной какъ всякая исторія, — и будемъ дѣлать то, что намъ кажется нужнымъ дѣлать, считаясь только съ настоящимъ, а не съ прошлымъ.

Надо взять бутылочку съ сѣрной кислотой — и облить все, что распустилось постыло-роскошнымъ цвѣтомъ вокругъ. Ничего не уцѣлѣтъ? Что же дѣлать — значитъ обойдемся безъ

букетовъ! Но что-нибудь уцѣлѣть навѣрно, и эти-то цвѣты уже не уянуть у насъ въ рукахъ. Эти цвѣты не обманутъ, — и самый скромный такой лепестокъ дороже всѣхъ бутафорскихъ клумбъ и рощъ, какъ бы ни были онъ талантливо взращены. Клодель чрезвычайно талантливъ, онъ большой поэтъ, но это ничуть не мѣняетъ дѣла, ничуть! Неинтересно играть въ интересную игру, а сочинять и слушать ораторіи изъ жизни святыхъ — неинтересно, и если это литература, хочется немедленно «возвратить билетъ» для входа въ нее.

«Вы всегда танцуете отъ печки», — сказалъ мнѣ какъ-то съ ласъ-казовской трибуны какой-то язвительный оппонентъ —, «а печка эта Левъ Толстой!» Станцуемъ еще разъ, печка стоять того! Представимъ себѣ объявление, напримѣръ, о «Сергії Радонежскомъ, ораторіи въ двухъ частяхъ, сочиненія Льва Толстого» — кто же не почувствуетъ, что это совершенно невозможно! И вовсе не потому невозможно, чтобы не соотвѣтствовалъ жанръ и методъ писанія, а потому что уровень творческой серьезности не тотъ... А для нея, для этой серьезности, только къ есть одно мѣрило — преданность правдѣ, не исключающей вымысла, конечно, но и не допускающей любованія литературными красотами съ сомнительно небеснымъ привкусомъ.

Еще по поводу «печки». Бунинъ и Аллановъ, къ глубокому моему удивленію, постоянно говорятъ, езва только зайдеть о такихъ вещахъ рѣчь: величайшая книга въ мірѣ — «Война и миръ»! Что это значитъ, величайшая книга въ мірѣ, — и если даже принять такое понятіе, можно ли считать книгой, въ которой отражено величайшее творческое усиліе человѣческаго духа, «Войну и миръ»? Едва ли. Но, конечно, Толстой — писатель единственный, именно въ плоскости «серьезности», «антижульничества», — хоть иногда, кажется, все на свѣтѣ отдалъ бы, чтобы уберечь отъ его бутылочки съ сѣрной кислотой поэзію міра, всю чуть-чуть лживую прелесть міра, Вагнера, Наполеона, многое другое! Шекспиръ не въ счетъ, съ нимъ у него простое недоразумѣніе.

Литературное собраніе съ христіанскими разговорами.

Личность, личность, личность — во всѣхъ падежахъ. Христіанство будто бы утверждаетъ личность, христіанство освящаетъ личность, — напрекоръ діявольскому наважденію, стремящемуся къ ея позорной коммунистической гибели.

Со стороны зрѣлище наставительное и грустное. Одинокія души, мало-по-малу растерявшія всѣ живыя, животворящія свя-

зи съ міромъ — и потому, обостренно, надтреснуто-звеняшія, — ищутъ «соломинки». Кто же приметъ ихъ, если не христіанство, — и куда имъ больше пойти? Тутъ иронизировать нечего, и «да сіяють образа эти вѣчно», какъ дважды, съ незабываемой интонацией сказано въ предисловіи къ «Людямъ лунного свѣта».

Но разумъ отъ своихъ правъ не отказывается. Личность абсолютная, самодовлѣющая, замкнутая въ себѣ — напрасно ищетъ опоры въ христіанствѣ, и напрасно обанкротившійся индивидуализмъ идетъ съ такихъ позицій въ атаку. Ему вообще не надо бы сейчасъ воевать. Ему лучше уйти въ себя, — и посмотретьть, подсчитать, что осталось отъ былыхъ «безсмысленныхъ мечтаній», корня столькихъ великихъ духовныхъ драмъ въ прошломъ вѣкѣ.

Самый догматъ грѣхопаденія и искупленія — т. е. самая основа христіанства — подрываетъ индивидуалистическое представление о личности. Если я отвѣтствененъ за то, что кто-то до меня согрѣшилъ, если возможно освобожденіе мое отъ этого грѣха безъ моего участія въ этомъ дѣлѣ — значитъ я не вполнѣ самъ по себѣ, значитъ «я во всемъ и все во мнѣ» и единочества нѣтъ, пока я самъ на его безнадежные просторы не вырвался. Даже крикъ о томъ, что «кровь Его на насъ и на зѣтяхъ нашихъ» входить въ этомъ смыслѣ въ евангельский текстъ естественно, безъ логического противорѣчья, — хотя для кричавшихъ это вѣдь не была кровь божественная, создающая возможность исключенія! Личность, можетъ быть, и утверждена въ христіанствѣ, — но не та, не такая личность, какъ хотѣлось бы ея позднимъ, забывчивымъ защитникамъ, ведущимъ ее къ пропасти.

Докладъ читалъ совсѣмъ молодой человѣкъ, поэтъ, еврей, въ очкахъ, — слабымъ голоскомъ, растерянно и по внутреннему звуку «не безъ музыки». Какой-то ягненокъ на эстрадѣ, смиренный, кудрявый, скромно ссылающійся на авторитеты — на отцовъ церкви.

Что ему Гекуба? До безразличія, до сопротивленія, до трагического «помоги моему невѣрю», — что ему религія, особенно такая загадочная, какъ эта? не слишкомъ ли легковѣсно и шатко увлеченіе? не надо было ли бы послать его обратно «въ жизнь», чтобы хорошенъко покрутился онъ по ея омутамъ (не практическимъ, конечно, а «идейнымъ») — и набрался бы впе-

чатлѣній? не прельстила ли его — и многихъ ему подобныхъ — именно музыка, поэтическая тональность, а не сущность христіанства, воспринятаго все-таки торопливо въ его обволакивающей, обѣщающей, утѣшающей гармоніи?

«Да не смущается сердце ваше..» Конечно, послѣ этого почти невозможно быть поэтомъ въ этомъ, если только у человѣка есть слухъ. Но не ищутъ ли сейчасъ многие откликающіеся просто чего-то вродѣ подушки подъ голову, чтобы забыться, — только забыться?

Георгій Адамовичъ.

(Продолженіе съдуется).